

Александр Фуфлыгин

Возвращение в клетку

Повесть

Александр Фуфлыгин

Возвращение в клетку. Повесть

«Издательские решения»

Фуфлыгин А. В.

Возвращение в клетку. Повесть / А. В. Фуфлыгин —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-747957-2

Трудно вырваться из клетки, состоящей из металлических прутьев. Однако, можно отпилить дужку замка. Можно сделать подкоп, в конце концов. Герой повести получил в наследство нечто совершенно органично сросшееся с ним духовно и психически, что только лишь называется клеткой. Из нее нет выхода, хотя на ней много замков. Она легка и гибка. Она может уместиться в сумке, под одеждой, в чемодане. Но она все же клетка, вырваться из плена которой ему только предстоит...

ISBN 978-5-44-747957-2

© Фуфлыгин А. В.
© Издательские решения

Возвращение в клетку

Повесть

Александр Валерьевич Фуфлыгин

© Александр Валерьевич Фуфлыгин, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1

Странно, но в энциклопедическом словаре слова «клетка» Эдик Кейджинский почему-то не нашел. Пока отец, прикрикивая на мать, упаковывал сумку, нервно дергал заупрямившуюся вдруг застежку, пока мать, нервничая, отталкивала отцовские «непутевые» руки и сама принималась дрессировать непокорную молнию, Кейджинский, присев на корточки, раскрыл толстобокый томик. Он отыскал нужную страницу, скользнул любопытным пальцем по строчкам сверху вниз.

Было все, что угодно, только не было «клетки». Были клетень и клетневка. Был клест со своей клестовкой (*loxia curvirosta*), шахтерская клеть, клетушка под дверью. Кейджинский взял другой том в глянцевой, цвета крови, чудовищно истрепавшейся обложке, пробежался пальцем – есть, кажется: «клетка: элементарная, живая система, основа...» – не то, не то...

И вот, наконец, в другом, кожистом томе отыскал следующее: «клетка – помещение со стенками...» – есть, искомое словцо.

Лезть в словари Эдика Кейджинского заставляла отнюдь не жажда знаний, а сильная взволнованность, которую он испытывал перед отъездом. Ему нужно было заняться чем угодно, лишь бы отвлечься от нелегких мыслей. Он уже за утро: пил чай с матерью, рылся в столе, деланно спешно ища отцовский «складень», и хотя нож нашел быстро, порылся для виду еще немного с целью оттянуть время; поспорил с заглянувшим на огонек соседом о порочности поездок в купейных вагонах, о девках из неблагополучных семей, сующихся в каждое незакрытое купе с низменными целями (отчего у него сладко засосало слева под ложечкой). «Ах, ах! – сказала, тем временем, мать, хватаясь за щеку. – Не лучше ли было взять плац-карт...» Но было уже поздно...

– Ну, вот и все, – сказал отец. Лицо его, когда он разогнул поясницу, обрело ободряющую улыбку. – Отлично упаковались.

Отец кривил душой, так говоря: бежевый язычок сыновней курточке zipperом-то они прищемили, и тот поник, обескровленный и потемневший.

– Клетку-то отдельно повезем, в брезентовой моей сумке, походной... Я уж сам поташу. Ну, сынок, пора двигать, пора...

Присели «на дорожку». Кейджинский уселся на самый краешек стула, нервозно постукивая каблуками новеньких бареток. Встали. Кейджинский подхватил наплечную сумку. И тут мать полезла целоваться, набросила руки ему на плечи, повисла. Сумку-то он все время пытался сбросить, ворочал плечом, ртом успевая отвечать материнским, солоноватым губам. Но не вышло эффектное освобождение странника от нелегкой ноши: лямка зацепилась за бутфорский плечной погон. Зато после, в тот самый момент, когда мать, неудачно скрывающая слезы и шмыгающая носом, откинувшись, стирала носовым платком, намотанным на палец, предварительно облизнув самый его кончик, помаду на сыновних губах и скулах, сумка вдруг начала запоздало соскальзывать, словно этот погон не замечая, и, в конце концов, съехала на стиб локтя.

– Билет, паспорт? – напомнила мать, и щеки ее порозовели.

– Здесь, – ответил за сына отец, похлопывая себя по нагрудному карману. Эдик и не сопротивлялся: отцовский карман казался ему хранилищем более надежным, чем его, Эдика, джинсовый лоскут, приделанный к куртке фирменными заклепками. Отец сохранит, и не забудет передать на вокзале, и не сомнет в автобусной толчее.

– Ну, хватит, – сказал, наконец, отец, неловко отрывая мать от сына.

Ситуация, действительно, была не для слабого материнского сердца: Эдик, цель всей ее жизни, баловень, любимый мальчуган, и вдруг... Невозможно себе представить, как он, съездившийся – быть может, словно от холода, от подступающей к горлу тоски по уплывающему вдаль отчужденному дому – глядит покрасневшими от слез глазами вслед неуклюже пятящемуся перрону. Невозможно себе представить, что Эдик через какие-то несколько часов будет уже за пределами города; будет лицом принимать ласки не ее, материнских ладоней, а разбойничьих дланей несущегося навстречу крепкого, пропитанного незнакомыми дорожными запахами, воздуха.

Всклипывая, он расцепила руки: он, сын, сынок, покорный судьбе, ныряет в прожорливые механические лифтовые створки. Со страхом слышала она, как лифт, издав сытный звук, захлопнул пасть, и пошел вниз, гугниво переваривая ее неразумное дитя, поддавшееся на уговоры папаши (который, конечно же, жалеет сына, но склонен иногда разражаться глупыми и нелепыми педагогическими идеями).

Она бросилась к окнам, металась от одного к другому, отчаянно бормоча всевозможную материнскую белиберду, припоминая дурным словом мужа, заварившего всю эту кашу; но их не было. «Прозевала!» – ахнула она про себя, и опустила бессильные руки. Но, в тот самый момент, вдруг прижавшись виском к стеклу и приподнявшись на цыпочки, самым краешком глаза она увидела паутину сигаретного дыма, раздробленного легкими, мелкими трещинками в стекле (результат – еще в отрочестве – пущенного Эдиком камушка).

– Нашел время, – проворчала она, заочно обращаясь к мужу, и стекло тут же запотело от ее частого дыхания; тогда она приласкала его ладонью. – Опоздают ведь... – прошептала она с надеждой.

И тогда они пошли: сын был чем-то расстроен, шел угрюмо, опустив измученное узкой лямкой плечо; за ним – рассерженный взмах отцовской ладони, умудренный проплешиной затылок, перышки дыма, выпущенные из сложенных трубочкой строгих губ. С высоты третьего этажа сын и муж были чудовищно коротколягими, головастыми. Материнские слезы застили мучительную, кислую прощальную улыбку. Проплыли за угол; она вытягивала шею, вновь припадая к стеклу лбом, но смогла поймать взглядом лишь ускользающую сыновнюю ногу, обутую в новенький полуботинок.

Всю дорогу до автобусной остановки в голове Эдика созревала некая дилемма: представить себе дорогу до вокзала без отца он не мог – какой-то ископаемый, животный страх внушала ему предстоящая поездка. Отец же всегда вселял в сына успокоение, да и сумку с клеткой тащить самому не очень-то хотелось. Теперь же она покойно висела в сумке на отцовском боку, и даже со стороны в ней можно было бы наспех признать отцову собственность (отцовская же клетка хранилась дома, как реликвия – чугунная, неповоротливая – ею отец очень гордился и часто упрекал всю современную молодежь – в лице сына – за излишне легкомысленное отношение к этому необходимому, повседневному причиндалу). В то же время предстоящая дорога вселила в Эдика странное, необычное предчувствие свободы, колкой, занозистой, с железистым вкусом – с тем самым, какой оставляет во рту прыжок с высоты или скоростная поездка в лифте с прозрачными стенками.

Обуреваемый сомнениями, он вслед за отцом влез в кипящий телами салон. Попытался протиснуться: не дали; хотел аккуратнее поставить ногу: ее отнесло многоногим потоком, пришлось ее пристраивать, выворачивая, хрустя суставами. Выуживая мелочь, Эдик согнулся, не удержал – зазвенела, запрыгала мелочевка, нагло стараясь разбежаться подальше, сунуться

в самые дальние ноги. Налившись краснотой, он попытался достать серебряшку, уж протянул, было, руку... Тут как тут – отец, протиснулся, судорожно дыша: «Растяпа... Оставь... Сам заплачу...» А ведь можно было бы (пока клетка в собранном виде), слегка пококетничать с симпатичной в профиль билетершей, полногрудой и размалеванной, ведь иногда именно такие вульгарные субретки вызвали похотливый трепет в области пупа.

Некоторое время Эдик принаравливался к ходу автобуса, изогнувшись в попытке выудить промеж жарких спин ломоть окошка. Пусть там, за ним: бесконечный поток размытых от скорости зданий, знакомый с детства промельк вопросительных знаков – бетонных столбов, оканчивающихся отнюдь не ответами; пусть бестолковая болтанка ребристых, неприхотливого вида заборчиков со следами граффити. В общем, как сказали бы немцы: ничего нойес унд интэрэссантэс, – но занимать себя подобной чепухой было первейшим делом каждого пассажира.

Спины стояли плотно, и ломтя окошка Эдик был лишен.

Чья-то рыжая лапа, поднатужившись, выдавила наружу кусок крыши. Прохладный воздух отчаянно кинулся в салон сквозь беззубую пасть люка, взбил волосы на макушке Эдика. Работа сильно послушенных ладоней прошла впустую – вместо обыкновенного чуба голову Эдика теперь венчал чуб влажный, иной формы, может быть, иного веса, но суть дела не изменилась. Еще раз провел растопыренной ладонью, пропуская неподатливые волосы между пальцами – зря.

Две каланчевидные девицы с модными буклями, нависшими на лица, и с обезображенными пирсингом лицами беспечно прыскали друг другу в прыщаво-веснушчатые оголенные плечи. Одна, что посветлее и чуточку повыше, коварно кося глазами, выпрыснув очередную порцию насмешки, состроила ладонями лодочку и сквозь ее дырявое днище активно зашептала подруге в ухо.

Кейджинскому стало мучительно жарко; он напряг слух, но скрежет двигателя и дребезжание стекла забили ватой уши. Он проклял одновременно две взаимоисключающие вещи: жару (комковатый, нагретый летний воздух, трудноперевариваемый легкими, раскаленные спины и бока рядом стоящих) и столб прохлады, бьющий в темя (результат – новая копна волос).

Корни волос мучительно взмокли, когда девицы засмеялись на весь салон. Какая-то лягушачья сырость образовалась у Кейджинского под мышками, капли пота за ушами, на висках. Тут справа – озабоченный отец: «Что с тобой, сынок?» Поспешный сыновний ответ-отмах.

Новая девичья атака (словно нарочно, и ведь не отвернуться, не отвести глаз, не выскокить на волю – черт с ним с поездом! Черт со всем на свете! Дайте воли! Дайте свежести! Дайте новорожденную мечту: получасовое одиночество и ледяную мистраль в спину!), и в довершение всего: глазной тик – частые подмиги развратных девичьих глаз. Пытаются с ним заговорить – это видно невооруженным глазом! А за спиной волнение прижимающегося вплотную плеча. Кто там еще, такой неугомонно-спорый на пассы плеч? Как в замедленном нудном кино, во весь экран: полураскрытые губы, помада на двух передних (подростковых – заячьих) резцах, несколько слов с помадным привкусом: «Куда же ты Ирку-то подевал?», и прожигающий сетчатку взгляд, полный насмешки.

Кейджинский растерялся. Краснота Кейджинского плавно переползла в багровость. Кейджинский открыл рот, формируя языком и нёбом: «Я Ирку никуда не...» Но тут, за его плечом ответили зачаточным баском: «Ирка в баре осталась... Дискотеку, говорит, дождусь».

«Ах, вот оно что!» – понял Эдик, скашивая глаза и видя небритый острый подбородок, череп-черепок с легкой болоночной порослью, пробивающиеся над губой усы. Тем временем подростки продолжали беседу через его, Эдика, плечо и постепенно остывающую щеку, совершенно на него не обращая внимания: «А ты что же с ней не остался?» – «Тык я...» Дальше следовали совсем уже интимно-домашние подробности, во время которых кожа Эдика медленно приобретала свой естественный, натуральный природный цвет.

– Следующая наша, – сказал отец, протиснувшись поближе. – Черт, как надоела эта толкучка... И куда все едут, на ночь глядя?

А тут и потолок хрипло объявил о следующей, конечной остановке «Вокзал». Кейджинский был поражен. Конечно, на вокзал ездил он реденько. Если точнее: крайне редко; в последний раз – два года назад, когда провожали тетку, уезжающую в Сухуми скорым. Но он прекрасно помнит, как тогда тянулось время, как он тогда, юный и беспечный, восседающий где-нибудь на отличном месте у окошка (отбитым для него матерью у наглой облезлой тетки), прижимающийся юной щекой к замызганному окну, мечтал домчаться побыстрее.

Тогда поездки в общественном транспорте ему доставляли мучения, его воротило от специфического автобусного запаха, его укачивало. Он маялся от скуки, считал остановки, ворчал на ставящие подножки светофоры, на перекрестки, забитые лезущей под колеса, вечно рвущейся поперек батки в пекло автомобильной мелкотой; он, помнится, все ехал, ехал, ехал, вокруг него происходило движение, он видел зады, движущиеся к выходу, и завидовал освободившимся задам; он видел рвущиеся в забитый салон руки и расплющенные в давке лица, и завидовал рукам и лицам, пусть расплющенным, пусть изломанным – ведь им все равно осталось много меньше ехать, чем ему.

Сейчас же время пронеслось бегом – Эдик не успел даже углядеть его ускользающие пятки. В кои-то веки он был не прочь проташиться в этом автобусе подольше. Избавиться бы, конечно, в первую же очередь, от красновыинной толпы, усесться возле окошка – по-детски беспечно – и ехать так до бесконечности, ехать, ехать. Ан нет: конечная остановка «Вокзал», разморенный, помятый отец, сумка с клеткой, сумка с одеждой и «питанием» (так говорила мать). Поток хлынул наружу, журча, суживаясь в проходе и растекаясь снаружи в разных направлениях.

– Обязательно сегодня, – бубнил отец, тяжело дыша в чью-то мокрую спину, – съешь курицу. Иначе протухнет.

– Ладно, – ответил Эдик, отворачиваясь; ему казалось, что все теперь смотрят на него из-за этой глупой курицы, которая должна протухнуть.

«Клетку чисти чаще. Постарайся не дурить. Дядю слушайся – он знает толк в делах. В гостиницу не суйся: сними комнату. В гостиницах живет всякая шушера – обманут, подведут под монастырь. В комнате тебе и спокойнее будет, и дешевле выйдет». Ответ Эдика был всегда один: ладно, ладно, ладно, ладно. Это было немного скучно, но привычно: отец любил наставлять сына, запамятавав, видимо, что сын-то уже достаточно вырос. И хотя Эдику казалось, что все это он знает, все это слишком банально, но все же слушал, не надеясь до конца на собственные силы. Пусть, пусть, пусть – пусть предок говорит, пусть это доставит ему успокоение (наставил сынка, обучил – теперь не пропадет парень!), и Эдику придаст уверенности в том, что все, что нужно знать молодому человеку – он знает.

– Только не кричи так, – попросил Эдик, но отец, кажется, не обратил на его реплику никакого внимания.

Запах мочи, открытки, глянцевые сердечки, раскладные столы с канцелярией самых безумных расцветок – подземный переход; свернули – лестница, дымящаяся жестяная урна, липкие касания перил, зеленая гусеница поезда, проводницы в застиранной форме и с флажками в руках. Отец: «Вот и, слава богу, поспели...» – это его странное «поспели» вместо «успели». Возле вагона: долгоногая девица с собранными в бомбошку на затылке волосами деланно томным движением губ высасывает последние соки из благородного ментолового окурка.

– Ваш паспорт, – потребовали у Эдика; он, растерявшись, отвел взгляд от девичьих колен, открыл рот, закрыл рот, поднял взгляд: проводница была немолода, патологически недоверчива. – Паспорт у вас есть? – повторила, видя его замешательство. – Без паспорта нельзя.

– Есть, есть, – спохватился отец и полез в карманы. – Сейчас, сейчас... Подержи, сынок, сумку...

Девушка, страшась повредить ногти, двумя тонкими пальчиками достала из сумочки паспорт, приподняв бровь, освободила желтую полоску билета из объятий документа.

– Тридцать второе, – нарочито небрежно, с налетом ненависти (что показалось Эдику совершенно гадким) кинула ей проводница. Эдику захотелось, чтобы ему попало тридцать третье место, или тридцать первое. Две нижних полки, он и она напротив друг друга. Он будет созерцать ее благородное худое лицо, ее колени, плечи, шею целых восемнадцать часов (нет, десять, восемь – на обязательный сон); либо две верхних – все равно.

– Оба едете?

– Нет, – поторопился Эдик, – только я.

– Тридцать третье, – небрежно бросили ему кость, но кость с куском мяса, с болоньей, с наметками салыца, запеченную с благородным сыром. Его обуял восторженный трепет и внезапная любовь к цифре «тридцать три». Отца он в вагон не пустил, предпочтя самостоятельно (откуда взялись силы?) затащить обе сумки в тамбур за какие-то доли секунд. Потом, оставив их («Потом отнесу, постою пока с тобой, подышу воздушкой...»), принялся прогуливаться вдоль окон с отцом наперевес, не забывая заглядывать в окна, словно нарочно подставленные; увидел ее в окне, уже простоволосую, в белоснежной футболке, подпершую сдобную грустную щеку ладонью, и в сердце у него случился переполох, и в ногах у него произошла оказия, и он чуть не упал, удержался за отца, поплатившись за рассеянное вождением внимание разбитым правым коленом.

– Курицу не забудь съесть, – гугниво говорил отец, жуя слова, – сыр не оставляй на подоконнике открытым – высохнет...

Эдик был очарован: она показала подмышки. Краешком глаза, стараясь изображать полнейшее равнодушие ко всему вокруг (нельзя, чтобы об этой его безрассудности – а это была, действительно, безрассудность, и строгих правил мать была бы в ужасе, узнав о ней! – не догадался отец), он смотрел, как она поправляет волосы. Самым краешком, но достаточным для того, чтобы разглядеть (немного мешало, конечно, замызганное стекло) зовущие темные впадины, напряженные гладкие лямки ключиц. Он будет (также – краешками глаз) кормиться ее дорожной обольстительностью, как материнской грудью.

Он долго махал отцу, словно желая удостовериться, что свобода его окончательна; а когда тот уполз в сторону – не двинув ни ногой, вместе с вокзалом, с сараем, забитым металлом, с пешеходными мостиками, с велосипедом, приставленным к изможденному временем боку куцега заборчика – вот тогда Эдик Кейджинский взялся за лямки. Он проперся по проходу, подталкивая сумки коленями – одна из них мягко вибрировала; он пробормотал чуть слышно «ладно, ладно, скоро уже...», прошел дальше, рыща взглядом по стенам, нашел «тридцать два».

В этом месте – погрешность судьбы: номерок «тридцать два» оказался в соседнем купе. Кейджинский воспринял эту отвратительную весть мужественно, втиснулся в пропахшую мужскими запахами пещеру, застворенную единственной, гремучей дверью, и кивнул соседу, распустившему по проходу долговязые ноги, бормочущему почему-то шепотом: «Соседями будем... хорошо...»

2

Не раздумывая, ни минуты не медля, успев лишь освободиться от неудобных сумок. Одну: на самое верхотурье, в кажущуюся бездонной нишу над верхними полками, другую, раздувающую бока (Эдик бормотал чуть слышно, так, чтобы не утолять болезненную информационную жажду не в меру любопытного соседа) – под нижнее сиденье. Причем сердце его в тот самый момент сладко заныло, и это было бы удивительно, и даже заставило бы его, может быть, испугаться, если бы не сегодняшняя чередой сердцедробильных мук, которые, наверное, все-

гда испытывает впервые вышмыгнувший из родительского гнезда мальчишка. Затем, спешно напялив маску с застывшей на ней торжественной миной, которую можно было бы в его случае назвать самоуверенностью с примесью равнодушия, Эдик выскочил в коридор.

Не было. Ее не было.

Эдик, опершись о поручни, представил себе ее манящие голые руки; пыл, приливший к его лбу, быстренько сполз ниже, проглотил шею, осел на грудь. Он взялся за окно слабыми руками, попробовал: закрыто, накрепко и бесповоротно, – и тут вышла она, и встала возле него, облокотившись о поручень. От нее пошел такой жар, что Эдику пришлось вернуться к себе – вновь загорелось его лицо.

Он плюхнулся задом, ничего не замечая; сосед был туманным пятном, рождающим пустые звуки. Эдику пришлось кивать ему, чтобы не вызвать на себя огонь его ненужных вопросов. Задом он чувствовал, как взаперти бьется клетка, в нише, под сиденьем, а внутри него ей в унисон билось сердце.

Эдик вдруг понял, что его бесцельный покой может обернуться сердечным припадком. Он вскочил, прервав соседскую тираду о каком-то домашнем зверье, содержимым соседом на Кубани, полез с ногами на сиденье, достал из сумки старое отцовское трико, любезно представленное сынку в дорогу, развернул его и сунул обратно, сраженный внезапно открывшимся его внешним видом. Здесь были и тривиальные, оттянутые до безобразия колени, выдохшаяся резинка, несколько проплешинок в паху. «Что тебе, перед кем красоваться-то...» – начал, было, сосед, но Кейджинский его не слушал и выглянул в щелку.

Она стояла, по-прежнему локотками подпирая поручни у окна. Она была еще привлекательнее, и даже профиль острого носа ее не портил. Манящая белизна перекинутого через плечо вафельного полотенца, легкие сланцы на босую ногу – Кейджинский опять почувствовал себя неудобно; это неудобство было сродни тому кошмару, которое он испытывал в школе, несправедливо распятый возле доски, словно какой-нибудь хулиган. Сейчас – знакомое ощущение ваты в коленях, безболезненной судороги скул, тысячи взглядов, прикованных к лицу, и от этого – жар и вымокший лоб, и зачаточный, не окаменевший пока, сталактит на кончике носа, который бесполезно стирать фронтом ладони, ибо на его месте немедленно пухнет новый.

Теряясь в этом жаре, как в омуте, он пропустил торжественный миг, когда она незаметно для него исчезла в неизвестном направлении. После нее остался белый стяг полотенца, переломленный вдвое, небрежно навешенный изгибом на перекладину возле окна. Ругнув себя, Эдик выскочил из своего купе, стараясь – словно это возможно хоть как-нибудь, тщетно напрягая хоть какой-нибудь извив коры головного мозга, – определить это самое направление.

Он был то тут, то там, напугал ребенка, несшего по проходу завернутую в блестящую бумажку сосательную палочку, и снова тут, возле двери своего купе, откуда немедленно донеслось: «Чего потерял?» соседа, пронесшееся вскользь, мимо раскаленных Эдиковых ушей, раздражающее. Дав ему отмашку, Эдик остановил бег возле окна, щупая ладонью забытое полотенце. За окном прочь летели косые сажени еловых плеч, разновеликие, раскинувшие в стороны руки-перекладины, столбы, взлет-падение проводов. Все шло в сторону, в сторону, безвозвратно, невозвратно.

Она видела то же самое, она оставляла печати взглядов на еловых, березовых истуканах.

Она могла нырнуть в свое купе, пока он, ослепленный пустыми мечтами, устраивал засаду за приоткрытой дверью. Она могла быть в тамбуре, она могла вообще уйти из вагона.

Она была сразу же во многих местах.

Он видел ее сидящей на чьем-то диванчике, лежащей в постели, с руками поверх непривлекательно древнего одеяла; она ела банан, разлегшийся на тарелке – с него предварительно содрали кожу, – скребя вилкой об нож.

Она, она, она – домкрат в его голове отжимал виски наружу, так что приходилось удерживать их на месте двумя руками.

– Чай будет попозже, – сказала ему проводница, неся кому-то добавочное одеяло. – Я только недавно растопила казан...

– Обязательно, – неопределенно выдал он, – обязательно... Билеты – обязательно...

Проводница столь же близнецово рассеяна: Эдиков ответ завис в воздухе. Его втянул ноздрями высунувшийся из дверей сосед: «Билеты она раздаст утром. Когда приедем на место. Там у тебя чего-то под сиденьем...» Но тут же, не дожидаясь ответа, сосед исчез в направлении вагона-ресторана, бурча: «Наскока лень тащиться через весь состав, ты не представляешь...»

Было время, от силы сорок минут: пять минут сосед будет «тащиться» до ресторана, пять – обратно, полчаса там – всего сорок минут. Кинулся – вот, наконец, амнистия клетке. Он вынул ее на свет из-под сиденья, из сумки, помятую, разложил на дерматиновые полки, перебрал ее суставы, сдул с них пыль. Тут вспомнил про курицу – освободил и ее из плена промасленной бумаги, от соседства пихающихся, подлезших под бочок: вонючей мыльницы, матового футляра, заполненного зубной щеткой с проплешинами на щетинистой рабочей поверхности.

Клетка, тем временем расправив перекрестья, наполнила собой дверной проем, рискуя застрять в полозьях. «Куда?!» – хотел крикнуть Эдик, хотел броситься, хотел содрать ее, словно паутину – с не паутинным треском, с неметаллическим, но с натужно костным хрустом. Подумав, оставил все, как есть, ибо в запасе было еще полчаса (он лишь отыскал фиксатор, выщелкнул его из стены, чтобы теперь никто не вошел без его позволения).

С беспокойным сердцем он ел мясо; для начала – любимые крылышки, после – лапы; спина осталась «на потом»; за чаем не пошел – ведь нужно было сначала убрать клетку, нельзя, чтобы ее видел сосед, – а просто сел, грея ладонями холодные острые колени.

С этой стороны, в этом окне – те же, безучастные, бесстрастные леса и отдельно стоящие деревья, те же пологие крыши, те же облака, в розовом закатном свете кажущиеся кошмарными, занесенными над головой, окровавленными снежными глыбами. Лег, прикрывшись одеялом, почувствовал кожей его проникающую сквозь одежду колкость, его войлочную грубость. Наверное, там, в параллелепипеде соседней купейной пещерки – она, покрытая войлочной накидкой, называемой дорожным одеялом, ее плечо, может быть, как в зеркальном отражении роднится с Эдиковым, полосатым от нелепо грубого рисунка на одеяле.

Повернувшись носом к стене, Эдик втягивал ноздрями воздух, и тот двигался с места. Но пахло лишь вагонной, многолетней затхлостью одеяла. Он убажал себя одной лишь мыслью: что тот же запах, быть может, ловят сейчас и ее тонкие, припудренные ноздри.

Поезд притормозил, забило сердце, перестукиваясь с колесами: некто тонко, по-женски плаксиво (не разобрать, конечно, ни слова, лишь влажные от слез тона, выдыхаемые спороскользкие полутона) забормотал. Эдик тут же представил плаксивые вздоги женских – невидимых через стену, но ясно предполагаемых – плеч; как вдруг почетче, поближе, пояснее: «...зачем ты потащил меня? Зачем? Лучше бы я...» Затем новые всхлипы; вскоре опять: «...лучше я в тамбуре всю ночь простою, чем видеть твою харю...»

Эдик приподнялся на локте.

Мужское: «Стой где хочешь, дура, хоть в туалете... А я пошел дрыхнуть...» Звуки проползли вправо. Никуда она не уйдет. Странная, притягательная сила грубости. Нельзя ее терпеть. Но она словно магнит.

Время. Эдик вскочил. В несколько секунд клетка, скрипя в пазах – гибкая, но упрямая, – была втиснута в сумку, примята ногой. Резкий взвизг молнии на сумке, созвучный плагиат на брюках (рубашку не обязательно заправлять в штаны – дорога все-таки; подумал-подумал: нет, она может быть в тамбуре – ведь чем черт не шутит! – расстегнул, заправил, взвизгнул замком, отбросил дверь). Нельзя клетку показывать соседу, – он ведь не погнушается забраться в сумку, поглядеть, потом похихикивать будет до утра, ночи не сомкнет глаз, веселясь. Эдик уселся поудобнее, решив никуда не ходить больше.

Но все же вышел, встал в проходе; клетка, учуяв его, немного и бездвижного, возле окна, притихла. Усыпив ее бдительность, Эдик прокрался мимо пластиковых стен, скользнул сквозь воздух смазанной ловкостью грудью, увернулся бдительным плечом от болтающейся под напором сквозняка грязной занавески. Там дальше, за мощной грохочущей дверью: она, ждущая, подпирающая боком стену, ковыряющая розовым пальчиком заклепку на тамбуровой обшивке; счастье – ее прохладный, женственно острый локоть, близость ее тонкой, с голубыми прожилками шеи; счастье – ее губы, жаркий язык, касающийся его зубов...

Это было бы... Так было бы слишком просто для того Эдика, воображаемого, что пошел в тамбур, успокоил, завоевал. Этот Эдик всегда был потрясающе привлекателен. Он был не чета своему аутентичному двойнику, и не страдал нерешительностью. И клетки у него не было, а значит, не было и груза пустых переживаний. Он был прозрачен, но в нужный момент видим, в другой момент – ловок, бестелесен, неостанавливаем никакими прутьями. Он всегда был более приемлем всеми, нежели выдумавший его Эдик. Он не был краснюч, не был панически пуглив.

Эдик шагнул, повторяя шаг в шаг порывистые, ловкие движения того, второго, выдуманного Эдика: неудержимая боковая качка – поезд на повороте, сердце на вершине амплитуды, дозволенной кардиологией. Взялся рукой за пульсирующую металлическую рукоять, вдавил вниз, к полу. Сердце исчезло из груди, упало под ноги, затрепетав, растоптанное собственной стопой, оформленной походными отцовскими тапочками.

Там, в тамбуре, в волнительном тумане, наконец, она: мокрые щеки, красные, некрасивые пальцы, «о»образный рот, легкие морщинки, ползущие от носа вниз. Эдик встал, прижавшись задом к вибрирующей стене, кося глазом в ее сторону. Она, тем временем, не оборачиваясь, отвернулась совсем, чуть слышно всхлипнув.

Шагнув уверенно, ловко подстраиваясь под водопадный грохот колес, рукой взялся за милое плечо. Она прижалась, уткнувшись мокрым носом в подставленное плечо – вот он: близкий, горький запах ее волос, признак женственности...

Нет, это тоже было бы тоже слишком просто. Трудно решиться и подобраться к рыдающей. Настоящий Эдик не двинулся с места. Вымышленный же, решительный, многоопытный Эдик, со шлепком, вернулся в исходное положение: прилип задом к стене.

– Ну? – сказала девушка, вдруг резко обернувшись. – Чего уставился? Иди, куда шел, понял? Нечего тут... за спиной торчать...

Эдик кивнул еле заметно и начал наливать краской. Обиды не было – была разрушительная слабость. Он вышел, волоча за руку того, воображаемого, наглого сумасброда, упирающегося (но настоящий-то: сильнее, ибо материальнее), требующего не сдаваться, а продолжить... Вернулся в купе, свалился на полку, вытянув ноги, кажется тоже красные от натуги.

Забывать, забыть. Заснуть.

Ночь была дурна. Бессонница подпитывалась громким храпом соседа; тот спал всю ночь в одном положении, высунув в проход голую ногу, от которой шел сильный кислый запах. Эдику пришлось прятать нос, одеяльный запах был предпочтительнее.

3

Никогда Эдик не скучал по двоюродному брату; и даже за те двенадцать лет, которые они не виделись с Борисом, он ни на йоту не почувствовал к нему братской тяги. Обман родителей, который Эдиком был задуман, не был совершен им ни ради братской любви, ни ради братского содружества, альянса, союза: Эдик пустился во все поездные тяжкие ради себя, а не ради каких-то братских, скользких убеждений.

План был прост, и легко выполним. Эдик добрался до Москвы. Копия Эдика, угодная родителям, осталась в столице, осела в милой квартирке тетки Клавдии, старой, вконец одряхлевшей карги и дяди Ивана, старого маразматика. Другой Эдик, настоящий – с которого сни-

мали копию – сел на другой поезд и рванул в Питер, ибо в Питере жил Борис Вычужанин. С вокзала, едва дождавшись удобоваримого времени – восьми часов утра – Эдик позвонил Борису по телефону.

– Ты? – заспанным голосом усомнился Вычужанин. – Ты в Питере?

– Да, – дрожащим от радости голосом ответил Эдик. – Когда я могу подъехать?

– Как родители?

– Нормально, живы-здоровы... Так когда?

В трубке – утренне-жующие звуки, какое-то «мнэ-мнэ-мнэ», потом легкий, устричный писк-хруст.

– Знаешь, – начал Борис, – немного ты не попал... Трудно сейчас со временем... Чего же мне с тобой... Ты же, по-моему, собирался в Москву... Поступать хотел куда-то...

– В Баумана, – сказал виновато Эдик и тяжело задышал. – Я решил, что, сущности... Письмо-то ты, значит, получил?

– Точно, в Баумана, – не слушая его, сказал Борис. – Ты где, говоришь, на вокзале?

– На вокзале.

Опять «мнэ-мнэ» – черт, это неприятно! Наконец, Борис собрал раскиданные за ночь мысли в кучу, сосредоточился и выдал план: троллейбус номер, садиться на Невском, ехать долго – спросить у кондуктора, выйдя – сразу налево, до остановки, возле розового кирпичного, до дерева, за деревом – мимо мусорных, потом направо, оставляешь киоск по левую руку, дальше – такой полуразваленный, за ним искомое шестиэтажное, очень старое, на второй этаж, звонить два раза, подождать.

– Да, кстати, – сказал Борис, вновь мнэ-мнэкая, – прихвати-ка для меня парочку пивка. Помнишь, ведь я люблю «Балтику», четверочку... Денежки я тебе отдам, как подъедешь. Давай, дуй помедленнее. Мне надо морду прибрать. Ты хотя и не девка, но морда сегодня уж больно...

Далее – по плану: троллейбус и так далее; действительно, раскидистое дерево, киоск по левую руку, шестиэтажный, вонючий, старинный домище, прогнивший порог, каждый этаж с особым запахом, деревянные перила, звонок, наконец, все-таки неприбранная братская морда: серые глаза, крепкий череп, миниатюрные ушки, глупо смотрящиеся на фоне мощного черепа, посаженного на здоровенную выю – Борис Вычужанин.

– Давай скоренько, – сказал Вычужанин, делая знак головой. Он был бос, от него попыхивало потом. – Пиво принес? Так я и знал, черт...

– Я могу сбегать, – кисло поспешил Эдик.

– Давай, – согласился Борис, – за углом как раз круглосуточный... Парочку только.

Эдик чертом озвучил каждую ступеньку: черт, черт, черт, черт, черт! – сладко превращая «ё» в долготянущееся «о-о-о»; следующий этаж: новое шестизначное «чо-о-ортыхание», затем ладонью выбил массивную дверь. Как он здесь живет? В такой хламиногрязище. Самое глупое – что Эдику, скорее всего, придется здесь жить тоже. Других вариантов он для себя не видел. Во всяком случае, пока. Пока родители не узнают всей правды, о сданном меняле Питеру институте, о ничего не понимающей тете Клавде, племянника не видящей и в глаза.

В киоски можно посылать роботов; всегда одно и то же: дверь на себя, деньги, «две „Балтики“ четверку», сдача, звеня сталкивающимися бутылочными боками дверь от себя. Отец тоже любит «Балтику», четверочку. Оттого, наверное, так привычно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.